Мария Ларкина

Марианна Маратовна Давлетова (псевдоним Мария Ларкина) работает журналистом в газете «Истоки» (г. Уфа). Автор нескольких книг стихов и прозы. Лауреат всероссийского конкурса «Первые шаги» за сборник стихов «Любовь не умирает».

ДЯДЯ ПЕТЯ

Наша дача в Алкино. На обшарпанном комоде (такой сейчас можно увидеть в музеях) стоят маленькие советские статуэтки, шкатулочки, вазочки... Они создают атмосферу старины и уюта. В квартирах теперь все реже встречается подобный декор. Сейчас такие вещицы продают антиквару. Тут висят и наши фотографии в рамочках. На нескольких фото запечатлена моя дочь... Сегодня ей девять лет, а на снимках ей пять, шесть, семь... Все фотографии сделаны там, в Алкино, соседом дядей Петей. Для нашей семьи дача — священное место. Здесь радостно проводили дни несколько поколений. И фотографии из лета, сделанные в разные годы тут, в родном СНТ, представляют особую ценность...

Красота природы становилась ярче и ощущалась острее, как только дядя Петя (или, как к нему официально обращались, Петр Васильевич) брал в руки фотоаппарат и делал снимки. Вот и сегодня, приехав на дачу, он решил запечатлеть любопытный момент: полосатый паук, аргиопа, сплел крепкую паутину, точь-в-точь как на картинках детских книжек — узорчатую, белую. В нее угодил серый кузнечик. Паук, как в саван, аккуратно заворачивал тельце бедолаги, а тот, пытаясь выбраться, раскачивал паутину. Дяде Пете было жаль кузнечика, но он понимал — природа есть природа, никуда от нее не денешься — пищевая цепочка... Эту сцену он и запечатлел на фотоаппарат. «Неплохо», —

похвалил сам себя и вспомнил, что в любимом дачном домике его уже давно ждет чай. В этом году дядя Петя набрал в лесу душицы и каждый раз непременно клал ее в заварник. Чай становился приятным и домашним. Дядя Петя считал, что от тоски его всегда спасало хобби — фотография. Конечно, он не мнил себя профессионалом. Когда кадр получался четкий, дядя Петя радовался ему как чуду, а когда неясный, то сильно огорчался. Какой кадр был хорошим, а какой плохим — решал только он сам. Петр Васильевич и понятия не имел о том, какая нужна композиция, какой свет... Он видел мир по-своему и не хотел совершенствовать мастерство. Порой сфотографированная лягушка казалась ему той самой лягушкой из сказки: «Ей бы еще корону и стрелу», — смеялся он, а про закат на поле он говорил: «С него только картины писать... эх, туда и уходит наша жизнь, за горизонт». В этот вечер дядя Петя наслаждался сумерками. Почему-то его так и не отпускала та самая, запечатленная сцена борьбы паука и кузнечика. А что, если бы он вмешался? Помог бы прыгуну выбраться? Так вот часто говорят и по телевизору: этот прохожий, вместо того, чтобы помочь, стоял и снимал все на камеру! «Что за чепуха? — сам с собой разговаривал дядя Петя. — При чем тут безобидный снимок о жизни насекомых?» Он взял фотоаппарат и начал прокручивать кадры. Удалить этот, что ли? Да ладно, пусть будет... для истории.

Не так давно Петр Васильевич вышел на пенсию. Раньше он работал охранником колонии общего режима. Теперь, приезжая на дачу, он частенько наблюдал за играющими на зеленой полянке детьми. После каждодневного вонючего запаха камер и нездоровых людей ребятишки казались ему светлой реальностью. «Как жаль, что у меня нет сына, — подумал он, — или дочки, сейчас бы выдавал ее замуж... Как будто бы все сводится к тому, чтобы выдать дочку замуж...» — хмыкнул он, подтрунивая сам над собой. «Вот мне уже 65 лет, а я одинок, никого у меня... так жить нельзя. Надо жить так, чтобы после тебя что-то осталось, след какой-то, польза...»

Тут дядя Петя задумался: а приходилось ли ему жалеть заключенных? Помнится, да. Однажды вышел со смены и побрел домой по серой дождливой улице. Настроение паршивое. «Милок, погоди!» — окликнул его кто-то. Оглянулся. «Милок, ты оттудава?» — спросила старушка, указывая на ненавистное здание. Голова ее была покрыта красным платком, сама она опиралась на клюку. Дядя Петя посмотрел на нее и удивился. Перед ним стояла ангельская старушечка с голубыми глазами. Он даже поначалу вспомнил свою бабушку — так пожилая женщина на нее была похожа. «Отсюда, да», — ответил он. «Хороший мой, помоги мне, сынок, — запричитала она и, покопавшись в своем пакете, достала оттуда банку. — Можешь завтра сыну моему передать тушенку?» У бабули были очки с толстыми линзами, и глаза от линз казались большими. «Так оформите через передачу-то», — отстранился дядя Петя. «Не могу, — заплакала старушка, — вишь скока люди тащут-то еды своим ребятам? И сигареты, и чай, а он там голодает, сыночек мой, у меня пенсия, знаешь, какая? А он и говорит: «Ты, мать, ничего не покупай, не надо, да и не приезжай, ты старая, больная», а в конце такой приписал, — она тяжело вздохнула, — «тут люди тушенку едят, мамуль, эх, как жить-то хочется, да как есть хочется», от отчаяния уж, видимо, понимаешь? Я подумала, а вдруг я помру, не дождусь его, у меня диабет и ноги не ходют... Приехала я сюда, а на сви-

дание с ним не пустили. Я, дура старая, и забыла тушенку-то передать, а сегодня поезд мой, опаздываю уже, переночевать негде и денег на гостиницу нет...»

Дядя Петя взял ее за локоть и отвел в сторону: «Не положено, бабуль, нельзя, понимаешь?» — «Ну, что тебе стоит? Вот тут номер тебе камеры... мой сынок честный, ты посмотри его статью-то, он якобы браконьер... Какой он браконьер-то? Мы всю жизнь в деревне жили, ну пошел он на охоту, утку подстрелил, что теперь — сажать его? Просто те, у кого деньги есть, тех не посадят, а его, вишь, посадили». Она достала платок и стала вытирать лицо. Интуиция кричала дяде Пете, что старушка не врет. «А, ладно, — подумал он, — что ж теперь тут следствие устраивать, что ли?.. Где там твоя банка?» — «Дай Бог тебе здоровья, мой хороший, я сейчас пойду помолюсь за тебя, родненький мой, — заголосила женщина. — Может, тебе двадцать рублей дать?» И полезла в сумку. «Уберите!» — махнул рукой дядя Петя. Он шел домой, и на душе у него было спокойно. Действительно, ведь случается же такое, какая хорошая бабушка, сын по глупости в тюрьму загремел... На следующий день передал ту самую банку в камеру. А через некоторое время разразился скандал: у заключенных при проверке нашли пакетики с наркотой... И как она могла туда попасть, в тушенку-то? Пытали приемщицу Танюшу, что на передаче сидела, она только руками разводила: «Не передавала я ничего и банки этой не видела!» Так и уволили ее на всякий случай. Пете было стыдно, но он не признался в содеянном. Он ведь только недавно женился и получил квартиру от колонии, а тут...

В доме стало темно, только луна освещала деревья, делая их желтыми... «И к чему вспомнил этот позор?» — подумал Петр Васильевич. После того случая было жаль не Танюшку (на самом деле, он даже был рад, что ее уволили из этого злополучного места), а себя. Ангельская бабуля подорвала веру в людей. «Это же надо было так сыграть, а? И как она только банку запаяла? — размышлял он. — А, черт с ней, наверняка это целая шайка...» С тех пор дядя Петя ожесточился, ко многим испытывал недоверие... Жене было с ним нелегко, потому что дома он все чаще молчал и заваливался спать после трудового дня. И она ушла от него. Иногда Петр Васильевич хотел бросить работу, ему казалось, что жизнь проходит мимо. Страшнее всего было то, что он замечал, как сам становится похожим на заключенных, с которыми приходилось иметь дело.

Но у дяди Пети был его сад, где как вспышки приходили в голову и приятные воспоминания. Тут он существовал в настоящем — брал фотоаппарат и шел к реке, где он рассматривал жизнь мальков, фотографировал птиц и воду. А потом, возвращаясь к дому, снимал играющих ребят. Они становились старше с каждым годом, и он, собрав коллекцию снимков, распечатывал и дарил им их. Часто дети, увидев себя на фотографии, изумленно спрашивали: «Это я? Такой маленький?» Дядя Петя улыбался. К нему заходили родители и восхищались: «Какие чудесные снимки! Сколько мы вам должны?» А он смеялся: «Что вы, мы же соседи». В эти моменты он был счастлив...

В прошлом году Петр Васильевич умер, а у нас на стенах в Алкино висят фотографии моей дочери.

УЛИЦА ЦВЕТОЧНАЯ...

Ночью мне приснился сон. Мама стоит одна в углу на танцплощадке. На ней желтое в черный горошек платье. Она ждет, когда кто-нибудь пригласит ее на танец. Папа в шелковой красной рубашке и вельветовых синих брюках подходит к ней. Он протягивает руку, и они кружатся в танце.

И тут куда-то пропадают люди, и исчезает музыка.

Мои отношения с отцом трудно назвать идеальными, скорее, это столкновение двух непохожих людей, которые все же нашли путь друг к другу через близость характеров.

Они с мамой развелись, когда мне исполнилось девятнадцать. Его комната в коммуналке — с засаленными пятнами на обоях и прокуренным воздухом — напоминала жилище маргинала. Заходишь, и словно попадаешь в старый, изъеденный сырой плесенью барак. Но дело вовсе не в том, что отец был уж совсем неблагополучен. Просто его так же, как и меня, мало волновала наружность. У комнаты было преимущество — чудный вид из окна. Маленькие домики с садами и речка — на эту картину можно было смотреть часами. Люди копошатся в огородах, жарят шашлыки, и ты будто участвуешь в этом процессе.

Летом по речке проплывают теплоходы и катера, а зимой на льду собираются рыбаки. Они напоминают муравьев, что передвигаются туда-сюда... на белом полотне.

Мы с папой садились перед маленьким столиком возле этого окна и рассказывали друг другу все, что с нами случилось за неделю.

Отец работал в вузе, преподавателем. Уважаемый преподаватель и пьяница, аккуратный человек в белой рубашке и мужик в грязной толстовке... Все это как-то сочеталось в нем.

В соседней комнате коммуналки проживал хитрый татарин, вечный студент Ильшат.

— Мы вчера с пацанами три ящика пива выдули, пиво старое, списанное, но вполне... — таких историй у него полно. А о моем отце он говорил: — Айрат для меня как оттай, так на моего батю похож, всегда мне помогает.

Отец готовил вкусные супы и угощал ими Ильшата, потому что тот ходил постоянно голодным.

Ильшат работал охранником в супермаркете. Одно время он встречался с несимпатичной девушкой с большими запросами. То она требовала купить ей телефон, то ей надо было добавить денег на дубленку. Ильшат платил за комнату, и все остальное отдавал своей практичной подруге. В результате подруга его бросила, и деньги стали уходить на лечение депрессии: на пиво и водку. Но папа по-прежнему делился с ним своими харчами.

— На самом деле, я ему не доверяю, — говорил отец. — Но жалею. Он тут один. Приехал покорять Уфу. Все хотят жить в столице. Тут законы другие, не такие, как у него в деревне. Те деньги, что он зарабатывает, тратит на дискотеки, гулянки... молодой еще.

— Почему не доверяешь? — спрашивала я.

— А потому что вижу, что в его жизни главная ценность — деньги. Даже смешно, деньги, которых у него нет...

Однажды в телефоне я обнаружила три пропущенных звонка от Ильшата.

— Быстрее сюда, Айрату-абыю плохо! — прокричал он.

Я схватила куртку и помчалась к ним.

У отца случился эпилептический припадок.

— Смотрите, циркачи, — все повторял он, размахивая руками.

— Пап, успокойся, какие циркачи? — трясла я его за плечи. Он то ложился, то снова вскакивал: «Циркачи!»

Скорая приехала быстро. Юная врачиха сделала отцу укол.

— А может, в больницу? — спросила я.

Она презрительно фыркнула: «Мы «таких» (это слово прозвучало особенно отчетливо) в обычную больницу не забираем... Паспорт давайте и вот тут подпись поставьте, что отказались от госпитализации».

Мы остались одни. В течение получаса отец пришел в себя.

— Мне надо идти, — сказала я. — Меня дома Алина ждет, без меня не может уснуть.

Я ощущала пустоту. Он поставил меня перед выбором — остаться с ним, боясь, что он умрет, или вернуться домой к ребенку, которому нужна мама.

С того дня отец не пил. Инстинкт самосохранения — великая вещь, которая быстро приводит в сознание любого. Зато он стал сладкоежкой. Покупал себе молочные коктейли и шоколадки. Мы с дочкой стали чаще приходить к нему. Он знал, что Алина любит овсяное печенье, и каждый раз перед нашим приходом покупал его.

— Деда, — как-то сказала дочка, — ты должен сбрить усы, потому что ты похож на Бармалея.

Отец испуганно посмотрел в зеркало и почесал подбородок.

— Алиночка, как же? Я всю жизнь с усами, мне страшно их сбривать.

— Но ведь ты же как Бармалей!

Отец обожал внучку и к следующему нашему визиту состриг значительную часть усов.

— Алин, теперь я не похож на Бармалея?

Она посмотрела на него внимательно и ответила: «Теперь похож, но не сильно».

Алина приносила к нему карточные игры и дотошно выясняла, знает ли он, где живет жираф и где обитает кенгуру. Казалось, что отец и сам превращается в ребенка. Стоило Алине разложить перед ним яркие картинки, как он менялся в лице, и в глазах его, которые обычно были грустны, появлялся блеск.

К нашему приходу папа всегда проветривал комнату, прятал грязные банки с окурками в шкаф, тщательно протирал стол. В свое одиночество он впускал только нас. И старался быть заботливым и опрятным. В комнату приходил праздник, и мы делили его на троих.

Однажды я позвонила папе вечером и уловила в голове мямлящие интонации. Это означало только одно — он выпил. Я пришла к нему и с порога спросила: «Ты снова начал?»

— Что хочу, то и делаю, ясно? — ответил отец и захлопнул дверь. Неделю от него не было никаких вестей. Я, конечно же, звонила Ильшату, он рассказывал о том, как отец проводит время.

Потом мы все же созвонились.

Алкогольная яма, в которой жил отец, была глубока, а просвет был слишком высоко. Казалось, он брал лопату и все глубже копал, уходя под землю. В этой работе не было выходных, были лишь мучительные передышки, приносящие все то же страдание.

Как-то раз, прибираясь в его комнате, я спросила:

— Признайся, алкоголики — счастливые люди. Они ни о чем не думают, превращаются в детей, за которыми кто-то должен убирать, брать за них ответственность, выгораживать их перед окружающими... а они при этом испытывают иное состояние, соединяются с космосом...

Он молча закурил. О чем он думал? О том, что я смеюсь над ним? Пытаюсь чему-то научить?

У меня была своя правда.

Сердце стучало всякий раз, когда папа не открывал дверь. Мне приходилось идти домой и нести это невыносимое тревожное состояние в свою семью. Я была вынуждена принимать горькие таблетки: боль, стыд, страх. И самое ужасное — они предназначались не мне, а близкому человеку. На меня смотрели дочь и муж, а я делилась с ними этой незримой болью, хотя и не хотела этого делать.

Я снова и снова стояла перед его дверью и думала, что развернуться и уйти отсюда, отказаться и бросить его — самое верное решение.

И одновременно я молилась: «Боженька, пусть он откроет эту проклятую дверь!»

Обычно на порог вываливался нетрезвый Ильшат и радостно сообщал, что отец отдыхает. Я разворачивалась и шла домой, ненавидя эту дверь, квартиру, Ильшата, отца и себя...

Папа получал скромную зарплату, и все деньги у него уходили на еду и выпивку.

— Почему ты не берешь взятки? — спросила я его как-то.

— А то, что получено нечестным путем, никогда не приносит полноценного удовольствия. Это как будто внутри тебя сидит человек и грозит пальцем: «Я знаю, откуда у тебя это все...»

— Ну да, у олигархов никакой человек не сидит... — сердилась я.

— У всех нормальных людей есть мечта, они к чему-то стремятся... Есть ли у тебя мечта?

— Увидеть Великую китайскую стену, — со вздохом произнес он.

— Ну, так и давай накопим на твое путешествие, не пей только!

— А еще одна мечта, — сказал он немного погодя, — умереть трезвым...

С мамой они расстались, но сохранили дружеские отношения.

Каждый месяц она приходила к нему и стригла его. Это действо он доверял только ей.

— Айрат, отдай мне наши письма, — попросила она как-то.

Он угрюмо ответил: «Нет, пусть они будут у меня».

Я представила, как иногда ночами, когда отцу не спится, он, возможно, достает эти письма и читает их. В какое будущее я должна была направить его, если он хотел жить прошлым?

Мы с мужем отправились в другой город. По дороге обратно мне почему-то очень захотелось заехать на кладбище — к дедушке. Могила спряталась в тихом месте, где давно никого не хоронили, и могильные сектора напоминали скорее сад, чем пристанище мертвых.

Не жуткое, а тихое место. Здесь все говорило о выстраданном, законченном горе, которое произошло много лет назад.

Я сгребла листья и положила их в пакет. Белый памятник со временем пожелтел, а фотография дедушки осталась прежней — четкой и выразительной.

Вечером я позвонила отцу. Он взял трубку. Я уже по первому звуку научилась определять — трезв он или пьян. На это раз он был трезв.

— Как дела?

— Хорошо. Вы уже вернулись?

— Да, — ответила я. — На кладбище были...

— Правильно, не забывайте на могилки ездить, — сказал он.

Я разозлилась (ведь сам никогда с нами на кладбище не ездит, а нас поучает):

— Когда это мы забывали? Мы все время ездим, папа, ты что!

— Давай созвонимся попозже, мне надо сходить в магазин, позвони после десяти, телефон я тут, на зарядке оставил, — сказал он.

Я положила трубку и пошла укладывать Алину спать.

Наутро мне позвонил Ильшат:

— Айрат абый умер...

Еще вчера я не знала этих страшных слов, а сегодня они поселились во всем теле, сковали ноги, парализовали руки и забарабанили в сердце железными гирями.

Я присела на корточки и уставилась в одну точку.

— Мама, что случилось? — спросила меня Алина.

— Дедушка улетел на небушко, — ответила я.

Через десять минут мне позвонили, и безучастный мужской голос произнес: «Вы должны прийти на опознание».

На следующее утро мы с мужем поехали в РУВД. Зайдя в кабинет, где сидел молодой следователь, я тут же задала вопрос:

— Как умер мой отец?

— Упал на улице. Отец ваш вышел из магазина, присел на перила, не удержался и полетел вниз, а там лестница в подвал, он ударился головой. Когда приехала скорая, он был еще жив, но ночью скончался в больнице... Пройдемте со мной, — сказал он мужу.

Следователь взял в руки фотоаппарат и позвал мужа в коридор. Я поняла, что сейчас он попросит его опознать отца по фото. И вдруг мне показалось, что все эти события — результат глупейшей ошибки! Папа, наверное, лежит у себя в комнате и просто, как это часто бывает с ним, не открывает дверь... А Ильшат, хитрый татарин, наврал, и на улице нашли кого-то другого...

Муж и следователь вернулись в кабинет.

— Это он? — обратилась я к мужу.

Он кивнул.

— Когда можно забрать тело? — опустив глаза, спросила я.

— Для этого вам нужна подпись нашего начальника, а он уехал на мероприятие... Скоро будет, примерно через час, — ответил следователь.

Я позвонила в похоронную службу: «Наберу вас, как только выдадут справку, это будет сегодня...», а потом присела на скамейку возле кабинета начальника и стала ждать... Прошло два часа, но никто не появился.

— Когда придет начальник? — спросила я у его секретарши.

— Знаете, — сказала она неуверенно, — он поехал на банкет, но он скоро вернется…

«Странная жизнь. Она будто швыряет тебе в лицо грязную тряпку, крича: смотри, кто-то на банкете, а кто-то в морге», — подумала я. От этих мыслей стало холодно. Я сомневалась и тогда, сидя здесь в ожидании справки, что отец умер. Вокруг проходили люди. Они заходили и выходили из кабинетов, громко разговаривали по мобильнику.

Прошло еще два часа, но начальника не было… Тогда я позвонила своей подруге, у которой мама тоже работала в полиции.

— Представляешь, справку не могут дать, а я уже похоронную службу заказала, — сказала я.

— Сейчас моя мама подъедет к тебе, — ответила подруга.

Через двадцать минут тетя Гузель уже была тут и отправилась в кабинет к замначальнику.

Кабинетов на этаже было много, и из каждого она выходила, пожимая плечами.

— Не могут подпись поставить, что за люди? — сердилась она. — А начальник бухает на банкете, ну ты подумай, а?

— Тетя Гузель, морг до пяти только работает, — прошептала я, — наверное, не успеем сегодня.

Я представила, как приехавшие на похороны старушки-родственницы готовятся читать свои молитвы о покойнике, хотят поскорее увидеть отца, попрощаться с ним по мусульманским обычаям…

Я вспомнила бабушку, которая приехала издалека, чтобы похоронить второго сына и то, как она плакала на похоронах дяди, как заметно постарела после этого, и ее и без того худые плечи опустились и превратились в кости, обтянутые кожей. И то, как она, узнав о смерти второго сына, не могла поверить в случившееся и все твердила: «Это неправда».

Коридор к тому времени опустел. Тетя Гузель вошла в последнюю дверь на этаже.

— Все нормально, — сказала она, выйдя из кабинета, и протянула мне бумажку с печатью.

— Женщина, которая подписала документ, оказывается, знала твоего отца. Она сказала: «Он был очень хорошим человеком, подписываю на свой страх и риск»…

Внизу, в машине меня ждал муж, я сбежала по лестнице и мы поехали в морг.

Уфимский морг расположен на улице с поэтическим названием — Цветочная.

В это мрачном месте нас уже поджидала похоронная служба. Я зашла в красно-белое здание. За стеклянной перегородкой сидели две женщины: дерганые и неприятные. У одной на голове был серый платок, скрывающий волосы, у другой — химка с мелкими кудряшками.

Я протянула им документы.

— Ну что ж, завтра приезжайте тело забирать.

— Как завтра? — спросила я и посмотрела на часы. — Сейчас только полпятого…

— А у нас короткий день, — рявкнула тетка в серой косынке.

— А почему трупы выносят? — возмутилась я. — А нам нельзя?

— Это иногородние… все девушка, отойдите-ка от стола, до свидания, — замахала на меня тетка с химкой.

— Понимаете, мне справку не выдавали, начальник там у них в РУВД уехал, я с 10 часов ждала его, — начала я сбивчивый рассказ.

— Мне эти твои истории на кой хрен сдались, а? — прервала меня тетенька в серой косынке. — Я тебе что — священник? Или мне деньги платят за это? Сказано, иди отсюда!

— Понимаете, попрощаться с отцом приехали родственники, мы хотим, чтобы тело сегодня было дома, говорят же, так надо, чтобы душа успела проститься…

— Вот нахалка, — обратилась тетка с химкой к напарнице. — У меня работы навалом, а она тут со своей душой… Полицию, что ли, вызывать?

— А ты ей свои отчеты дай, пусть поработает, а то она больно разговорчивая.

— Видишь папку, давай, идем сюда, позаполняй-ка нам тут… — завопила тетка в серой косынке.

— Давайте, — ответила я и начала дергать ручку двери, чтобы войти к ним.

— Ты, малолетняя дура, что делаешь-то? — испугались они.

Я достала из сумки две пятисотки.

— Возьмите, только разрешите отца забрать сегодня, — очнулась я.

Одна из них оглянулась по сторонам и сунула купюры под стол.

— Иди попроси у санитара, чтобы труп в гроб положил. Только учти, придется доплатить.

Они позвонили куда-то. И через минут пять в холл зашел здоровенный мужик в халате. Он напомнил мне мясника — на нем были такой же фартук и шапочка.

Он нахмурил густые брови и посмотрел на меня.

— Можно забрать тело? — спросила я.

— Уже пять, конечно же, нет, — произнес он басом.

— Без десяти минут, посмотрите на часы!

— Ты что на рынок пришла торговаться? — заорал он и, повернувшись своей огромной спиной, пошел в зал морга. Я бросилась за ним.

В комнате лежали неприкрытые серые тела с кровоподтеками. Мой взгляд упал на тазик, в котором лежали кровавые кишки. Мясник резко оттолкнул меня и прошипел: «Пошла вон, сюда нельзя».

Я упала перед ним на колени и ухватилась за халат.

— Прошу вас, пожалуйста, это мой отец… мой близкий человек.

Он схватил мою руку и стал поднимать меня с пола. Я зарыдала так, что от моих криков, казалось, треснут стены.

Проходивший мимо молодой санитар подошел к нам.

— Я все сделаю, успокойтесь, выйдите… — сказал он.

На кассе мне пришлось заплатить семь тысяч. По закону я не должна была платить такую сумму.

— Ты же хотела сегодня забрать своего папочку, — радостно воскликнули тетеньки. — Поэтому тариф как для иногородних.

Я села в машину, и мы поехали домой.

Папа лежал в красном гробу. И я сидела возле него. Мне и тогда казалось, что все это не может быть правдой. Какая-то глупая часть меня думала, что отец просто спит.

На кладбище по очереди выступали собравшиеся. Они говорили много хороших слов.

«А вот при жизни никто уже давно не дружил с папой, — подумала я. — При жизни они считали его больным и спившимся».

На поминках никто не плакал. Для всех отец остался веселым и жизнелюбивым человеком. И только я да мама знали, каким он был в реальности. Но нужна ли кому-то эта реальность? Человек умирает, и о нем либо молчат, либо вспоминают хорошее... Это удобная схема, и она работает, беспощадно превращая образ человека в формальность.

Мне поскорее хотелось попасть в отцовскую комнату. Она была опечатана, а ключи находились в прокуратуре. Через два дня меня вызвали туда на допрос и объяснили, что когда человек умирает в результате несчастного случая, обязательно заводят уголовное дело.

Я зашла в кабинет, где за столом сидел пухлый следователь с потным лицом.

— Ну что, отец бомжевал, что ли? — спросил он, подмигивая.

Все эти дни я находилась будто бы в летаргическом сне, но этот вопрос снова ударил меня грязной тряпкой по лицу.

— У него была работа, жилье, внучка, почему бомжевал? — уставилась я на него.

— Ну, у него такой вид был...

— А какой вид был бы у вас, если бы вы упали и разбили себе башку? — со злобой спросила я.

— Вы мне тут не хамите... Ясно же, человек был пьян, упал.

— Он не был пьян. В тот день он не пил. Он хотел умереть трезвым и умер трезвым, — выпалила я.

— Девушка, мне дело надо закрывать и побыстрее, что я буду тут ваши истории слушать, как он умереть хотел? — заорал он.

Мне хотелось плюнуть в его потную рожу... за все... за все мои страдания, за унижения, за несправедливость, но я сдержалась.

— Отдайте мне ключ от его комнаты, — тихо попросила я.

— Для этого мне надо дело закрыть. Скажите: он был алкаш, ну ведь так? — спросил следователь.

Я встала и вышла из кабинета.

Меня тошнило от этих лиц, от бумажек и печатей, от подлых вопросов.

Я думала о том, что в нашей стране даже умереть нормально просто невозможно... Я злилась на отца, на его дерьмовую, сложную смерть, на то, что теперь я вынуждена страдать и мучиться, вместо того чтобы заниматься семьей. Я шла по узкому тротуару, и черные комки грязи, летевшие из-под колес машин, обляпывали мои сапоги и джинсы, но мне было наплевать.

Я даже не могла попасть в комнату отца, потому что от меня требовали сказать неправду.

Следователю все же пришлось отдать мне ключи. Я пришла в коммуналку отца, содрала с двери бумажку и вошла в комнату. На столе заряжался телефон, а в кружке оставался недопитый чай.

Человек вышел отсюда на полчаса и ушел навсегда.

Мы с мамой перебирали вещи папы. Кожаный кошелек отца я решила подарить Ильшату.

— Айрат-абый, эх, Айрат-абый... — Ильшат с интересом осматривал комнату соседа, в которую он никогда прежде не заходил.

Мы вышли в подъезд покурить.

— Твой батя мне как родной был, оттайка... У меня сейчас такая проблем, нету бабосов, мать заболела. Может, одолжишь пять тысяч? — жалобно спросил Ильшат.

Я достала из кошелька три тысячи: «Это все, что есть».

— Спасибо, матур кыз, спасибо, — Ильшат пожал мою руку. — Через неделю отдам...

Я забрала из комнаты только отцовскую сумку. В ней лежал блокнот, последняя запись была сделана за три дня до смерти: купить обои, клей, шпатель...

Он не хотел умирать, хотел жить, а может быть, мечтал все поменять.

Мы с мужем решили сделать в комнате ремонт. Еле-еле отодрали от стен обои, наклеили новые. Теперь здесь дышалось легче. Но некому было тут жить.

Ильшат пропал — он вскрыл комнату отца и вынес оттуда всю технику.

Спустя шесть месяцев, я продала комнату папы.

Проходя мимо его двора, я еще долго ощущала боль.

— Не получилось, так и не получилось его вылечить, — сожалела я.

Отец часто снился мне — в белой рубашке, красивый, здоровый. Мы беседовали обо всем, а потом он уходил...

В его дворе растет яблоня, весной на ней распускаются цветы и мрачный, закрытый двор преображается.

Через три года после его смерти я родила сына. И назвала его Айратом.

И теперь мы часто заходим в отцовский двор весной.

Сергей Чернов

РЕКА И ЕЕ БЕРЕГА

Сергей Валентинович Чернов родился в 1988 году. Окончил Воронежское областное училище культуры. Работает библиотекарем Слободской сельской библиотеки Бобровского муниципального района. Лауреат всероссийского конкурса «Хрустальный родник». Живет в селе Хреновое Воронежской области.

1

В смелом одиночестве, примкнув к сухому дубу, стояла юрта старика Хархута. Волны диких земель окружали ее — еще желтые прошлогодней травой, еще обожженные пятнами рыхлого снега. Бледно-голубой купол небес разламывался грозами первых дождей. Гудел огонь, поглощая коренья, лизал высушенные крылья орлов и клювы кочетов. Огонь грел кости старика Хархута. Он румянил дряблую кожу, вплетал дым в седину волос — раскосые глаза слезились старостью.

Целые народы были подвластны Хархуту. Великие ханы просили его совета. Духи огня и воды, ветра и песка были покорны воле старца. Все шаманы считали его своим дедом. Весь мир считал его своим дедом. Так стар был он. Так мудр был он. Он родился давным-давно средь людей, что звали себя Детьми Полыни. Да и родился ли? Кто помнит свое рожденье? А время устроено так — чем дольше живешь, тем бледнее память о детстве, будто тает оно, и уже уверенным быть нельзя: а было ли детство? Чем дольше живешь... Был Хархут юн, а тех кто видел его рожденье,

сморила старость, сырая земля покрыла их прах... и детей их, и внуков. Да и где теперь Народ Полыни?.. Да, многое видел Хархут в своей жизни. Он бывал на востоке, когда кости великанов превратились там в горы. Он бывал на юге, когда упавшие с небес джинны сожгли дыханием земли, превратив их в пески. Раньше весь мир был — Мать Степь. А теперь: горы и реки, леса и моря... Все меньше ее — колыбели народов. Вот и здесь протянулась уже река, будто длинная крепкая длань с голубым рукавом легла в первозданную степь. И людей становилось все меньше — в новые, юные земли уходили они.

Теперь Хархут был один — давным-давно одиночество стало ему по душе. И время... Время сильнее бури, оно гнет и гнет деревья, пока те не рухнут трухой. Богатырская сила ушла давно по тропе лунного света. Кости стали хрупки, мышцы — слабы. В ноги закрался холод, в голову — ленивая пустота. И стали приходить сны.

Хархут мучился этими снами. Он потерял покой.

Сон первый был, когда Луна вставала ярким шаром, а Звезда Пастухов колола в бок Змею. Хархут сомкнул глаза, и тут же бездна разверзлась у его ног. Он падал: в ушах гудела скорость, свистел безумно воздух в воронке бесконечной пропасти. Он ничего не видел, точно слепой, но чувствовал: в конечностях пульсировала кровь — необычайно сильно; все мышцы приятно расслаблены. Но тут какой-то звук — будто скрип ржавых петель... И вдруг птичий крик — неприятный, страшный. Крик птицы, что водится лишь в глубинах провидческих снов.

Хархут проснулся на мокром от пота ложе. Его бил озноб. Он протянул руки к остывшим углям очага.

Испокон веков знал Хархут имена звезд и духов, что прилетают с них. Он видел сквозь тени времен судьбы народов. Он знал все. Но смысл страшного сна, смысл крика, разорвавшего тьму, он не мог понять.

Проходили дни, как караваны туч на небе. Зажигалось и гасло солнце, скрываясь в холмах. Вот Луна уже всходила серпом. Хархут ложился спать, но странные сны не давали ему покоя. Он засыпал и видел: черная земля, расчерченная огромными трещинами; светящееся фиолетовым блеском небо. Мир плоский, точно нарисованный прутом на песке. И на границе земли и неба единственное не плоское: маленькие человечки — пляшущие деревянные куклы, такие же черные, как мир вокруг. Танец маленьких кукол — нескладное дерганье крошечных ручек и ножек.

Хархут просыпался, и в голове была боль. Боль от мыслей, что копошились, как мыши в норах.

«Зачем эти сны? — спрашивал он холодную ночь. — Зачем они приходят ко мне незваными гостями, зачем наводят страх? Никто не звал их сюда. Нет для них в юрте места. Разве я заслужил мученье в стране Грез? Зачем они тревожат мой покой после стольких веков моей славы?»

Но что могут слова, обращенные в никуда?

Лишь засыпал Хархут — перед взором все тот же непонятный мир.

Время шло. Никакие мольбы, никакие преграды не могли остановить его ход. Старик страдал. Глаза его впали, руки стали дрожать. Время не приносило отрады. Что ни ночь — то сон.

А во сне — деревянные человечки. Но танцев теперь нет. Теперь другое: вот они стоят у черно-угольных холмов. Стоят в тишине. И тут сгибаются разом. Хархут видит: они копают. Комья земли взлетают поверх безликих голов. Старик просыпается. Во рту сухо. Болит голова. Он пьет холодную воду, черпая ее иссушенными ладонями. Брызгает ею в лицо,

лишь бы не засыпать. Но разве можно не спать? Даже былой богатырь не может без сна. Усталость подламывает ноги.

И каждую ночь один и тот же сон — люди, копающие яму. Ни заговорить от них жестокое ложе, ни бросить в огонь сноборческих трав. Все без пользы.

Хархут скликал духов, сзывал их со всех концов Земли. Быть может, сидя по темным углам, летая среди звезд, они слышали, знают, отчего те сны и как их унять. Но духи не шли на зов. Хархут распалялся гневом. Бывает ли, чтоб рабы не шли на зов властелина? Сердце билось часто и громко, как молот в кузне. Глаза горели злобой. Он сеял песок, кормил огонь перьями птиц... Но и тогда духи оставались безмолвны.

Вены вздувались на шее старца от неслыханной дерзости живых теней. А его глаза? Вместе со злобой в них был страх.

Уже много лун сменилось на небе. Звезда Пастухов колола Тельца, а с того дня, как птичий крик вторгся в сон, не было и нет разгадки, лишь все больше тоски да тревоги. Никогда раньше Хархут не испытывал страха. Первый раз за сотни лет это чувство тронуло сердце. Не испытывал он страха, сражаясь с грозным Корчаком. И когда чудовищный великан Депегез стоял против него в бою, не было этого. Когда пчелоподобные духи с темной стороны Луны свалились на Землю, неся с собой мор, он изрубил их кнутом без этого чувства. Еще много было такого, что любой человек омертвел бы от ужаса. Всего не перечесть. Но страха... Страха Хархут не ведал. Да вот теперь, в седую старость...

Духи молчали. Сны раздирали душу.

Нет уже сил! Угли в очаге вспыхнули ярче. Хархут разметал их по земляному полу. Рыжий червяк пламени закопошился в соломенном ложе. Хархут откинул полог у входа, чтоб ветер питал огонь. Красные языки запылали то тут, то там. Оленья кожа чернела. От жара задрожал воздух. Белка пламени прыгнула на сухой дуб — задымил, запылал и он.

Широкие стебли травы колыхались у ног Хархута. Только старый-престарый бубен взял он с собой. Пожар догорал далеко за спиной.

«Должно быть, что-то сильное завелось в моей юрте. Облюбовало место, в котором жил я, — думал Хархут. — Пусть облизывает теперь огарки костра».

Желтым колесом катилось солнце. Жемчужные облака плыли в вышине, до которой не достать ни одной птице. Сверчки пели в траве. Ветер раздувал седые космы Хархута. Бодрящий воздух заставлял дышать во всю грудь, заставлял кровь приливать к щекам и зажигал в глазах огонь. Не успел пепел осесть на землю, а тревоги Хархута уже улеглись.

Стаял снег. Сочно-зелеными волнами шевелилась трава. Мысли летели далеко вперед, неслись над самыми стеблями трав, купались в лучах, поднимались с ветром в небо, вместе с зайцами бежали от норы к норе.

День прошел яркой радугой, просвистел стрелой. Солнце уплывало за горизонт. Хархут расстелил на траве плащ из бычьих шкур, бубен положил под голову. Все так же без устали пели сверчки — как утром. Глаза слипались в ожидании сладкой тишины, покоя. Глаза закрыты. Но вдруг — выжженная земля... люди-куклы деревянными руками роют почву в мрачном молчании... Хархут вздрогнул, замахал руками, отгоняя сон. С небес бледным ликом глядела Луна.

Неописуемо то, что было в этот миг у Хархута в душе. Его сердце превратилось в комок боли. На лбу выступил пот.

«Нет! Не одолеть меня в этой битве! — крикнул он. — Не пришел еще

миг сложить кости. Я сильней во сто крат любой беды. Пусть попробует найти меня в море зеленых степей! Пусть попробует нагнать, когда ветер подхватит меня на плечи и унесет за Край Земли! Никакой силе не угнаться за старым волком! Пусть седина в его шерсти, но в лапах — прыть былых погонь. Что ж, пусть пробуют злые виденья найти меня. Не так-то легко это выйдет!»

Только встало солнце, а следы уж исчезли.

Жаркие дни сменялись дождливыми. Бессчетным множеством рыскали звери по просторам бескрайних степей. Золотой покров звезд накрывал небосвод по ночам. Ветер менял пути, сдувал следы. Дробный ход времени утекал в пустоту; капли росы, стекая со стеблей, рубили его на куски и растворяли в снопах солнечных искр. Секунды срастались в минуты, минуты в часы. Проходили дни. Проходили недели. Неповторимые дни и недели. Да и бывают ли одинаковыми формы туч на небе, сочность их красок, близость к земле?

А время все идет, струится шумным потоком, точа камни.

2

Бескрайние, безлюдные земли остались за спиной у Хархута. Без дрожи в душе покинул он степь — свой старый дом, к которому так привык. Рыжая пустыня, каменные холмы, дремучие леса, седые пики гор... Ноги несли все вперед, к неуловимой черте горизонта.

Уже осень. Опадают листья, желтеет трава. Крепчает ветер. Все чаще ливни ложатся на землю дымчато-серым плащом. Солнце горит еще летним жаром, но утренних звезд не обмануть — они чисты и холодны, точно после морозных ночей. А Хархут не видит ничего вокруг. Он идет и идет. Он бежит. Ночью... Стоит ли говорить — что во снах? Ущербный черный мир, неестественные фигуры, роющие яму. Не скрыться, не убежать. Полмира истоптано. И Народа Полыни все нет. Да и будь они где-то, не сгинь в водовороте народов — чем бы смогли помочь? Жизнь их сама как сухая трава — вспыхнет и нету. Однако были и ночи — и мысли о них в голове. Много воды утекло. Дети Полыни были сильны и храбры. Жизнь влекла их своим потоком — старики сменялись юнцами; идеи новые приходили в их головы. Тесно им стало в степи. Новые земли влекли. Но Хархут не хотел уходить: зачем, ведь было здесь ему хорошо. Но Дети Полыни ушли без него. Хархут думал, они вернутся. Без героя всесильного, без заклинателя духов и вещателя законов будет им туго. Но они не вернулись. Быть может, Дети Полыни дали жизнь многим сильным народам. Наверно, но Хархута это не волновало. Их жизнь — это их жизнь. Но он надеялся — тогда, давным-давно, — что много горя они хлебнут, уходя без него по берегу юной еще реки.

Теперь вновь степь под ногами Хархута. Впереди полноводная река — широкая и буйная, точно дикая рысь на цепи. А значит это лишь то, что скитаясь, не разбирая дорог и сторон света, Хархут вернулся туда, где ранней весной, когда снег еще покрывал траву, он лежал у углей очага. Вернулся туда, где некогда стояла юрта — сейчас лишь горстка пепла.

Хархут опустился на землю.

Как много сил впустую! Не обмануть видений, не запутать следы, не спрятаться. Что-то внутри тяжелеет — там, в груди — наливается горькой полынью, жжет. Не хватает дыханья — воздух не желает затекать внутрь. Ноги тяжелеют. А в мыслях...

А в мыслях — в них что-то сухое, жесткое, заставляющее невольно

слезиться глаза. Уже, кажется, есть там что-то, есть ключ к разгадке, но он так горек. Есть догадка, но от нее сердце обливается кровью и хочется выть по-волчьи.

Меж тем какая-то злоба копошится в груди. Непроизвольно сжимаются мышцы. Скрипят зубы. В глазах зажигаются красные искры.

Пауком подкрался вечер. Еще один вечер среди множества недобрых вечеров.

Быть может, на этот раз удастся призвать к себе духов?

Из редких в степи деревцев и серо-зеленой полыни воспылал костер. Задымила трава-живокость, от которой слепые глаза обретают вновь силу. Красным цветком вспыхнул пучок вострeца. Загудел от жара корень волчьей лапы, разбавляя удушающую мглу сладким запахом меда.

Немощный старик — свидетель трехсотой зимы, дед-всех-отцов — лежал в дыму магического костра, в пряном тумане безумных снов наяву. Искры взлетали вверх. Костер-солнце блуждал во тьме. Точно сердце — звук бубна: могучие удары, волны, бьющие о скалы, ход крови в венах. Глухой удар... еще один... Дым раздвоенным языком тянулся к черному небу. Дым дрожал покрывалом, за которым — неведомое, бесплотное.

Какие-то тени поднимались на границе света. Их еле видно — одни лишь фигуры, и те текут водой, изворачиваются скоморошьим кривляньем; то вырастут у них крылья, то рога с петушиными гребнями...

Стук копыт. Гул ветра, кружившего дым воронкой. А тени все дрожат, кривляются, пляшут.

Будто иглы воткнулись в Хархута. Он гнал страх, но тот не уходил.

— Мои виденья... Отчего они? За что они?

И тут голос — певучий и мягкий, чистый, точно трель соловья:

— Ты слаб. Ветер высушил твою кожу. Время сожгло волосы. Разве не знал ты, что смерть приходит ко всем? Она — гостья, что захаживает к каждому. Как ко всякому Великому, она пришла к тебе в стране Грез. Она явила свою тень, дабы знал ты, что вслед за тенью придет и ее хозяйка. Неужели это неизвестно тебе? Не ты ль великий мудрец? Ты знал... Последняя зима осталась для тебя, Хархут. Почему ты невесел?! Расчеши свою бороду! Пляши вместе с ветром, пой с птицами! Налей в кубок вина! Сзывай старых друзей! Разве не для того смерть явила свою тень, чтоб ты провел последний год в развлечениях и пирах? Не для того ли, чтоб ты встретил ее, как Герой? Не многим дарована такая честь. Совсем не многим... Радуйся!

Но что ответил на это Хархут? Его будто ранила молния. В глазах запылал дикий огонь. Он уже не шептал, а кричал:

— Но в мышцах моих еще много сил!

В ответ — тишина.

— Да разве не я мудрее мудрых?! Разве не я побеждал в тех битвах, в которых нельзя победить?! После всех подвигов, что я совершил...

— Думаешь, ты заслужил бессмертье, старик?

И веселый, как звон колокольчика, смех пронесся, затихая вдали.

Розовой полосой на востоке начался новый день. Что принесло это утро? Лишь холод да росу.

Хархут все в той же позе — ноги скрещены, ладони лежат на коленях. Он не заметил утра. В голове его — ночь.

«Что ж... выходит, нет спасенья. Никакие уловки не помогут. Я могу обмануть лису, могу обмануть самых хитрых врагов. Могу обмануть свою тень, если этого захочу. Но смерть...

Нет!!! Не взять меня без боя! Пусть попробует! Пусть явится! Посмотрим, у кого острее когти! У кого в жилах огонь вместо крови!»

Вновь эти искры в глазах старца! Опять горят и будут гореть, пока с последним ударом не застынет сердце!

«Смерть нашла меня в степи, нашла в лесах и горах. Она ищет меня на земле. Пусть попробует отыскать меня в студеных водах гремучей реки!»

Подумав это, он сорвал с себя плащ и бросил на воду. Тайные слова сорвались с губ, и вот вместо плаща на волнах качается широкий плот.

Бурлит река. Клыками спускаются к воде берега. Взлетают брызги и пена. Гудят водовороты. Из воды вырастают скалы, подобно плавникам огромных рыб. Поток хочет вырваться из берегов — из клятых оков, туда, в бесконечность, где можно течь вечно... Хархут правит свой плот, не страшась ничего. Хрупкие кости, слабые мышцы — было ли это? От старости — лишь белые космы, растрепанные ветром.

День прошел, второй на исходе. Брызги секут лицо. Брови нахмурены. Весло вросло в руки. Плот несется по бурунам — трещат бревна. Мышцы вздуваются буграми. Глаза устали смотреть, как берега проносятся мимо.

Опускается вечер. Блестят звезды. Медленно ползет по черному небу луна. Гнать сон от себя! Да разве с этой рекой уснешь?

От ледяной воды покраснели руки. Холод клещами впился в тело. Одежда промокла, сделалась тяжелой, как каменная броня.

Но холод — пустяк, пока в груди что-то бурлит, как лава, стекающая с вершин дымящихся гор.

«Что ж, поймала меня?! Не бывать этому! Выходит, я уже мертвец, осталось лишь душу вынуть?! Нет, не бывать этому! — До боли в голове вертелись яростные мысли. — Врешь! Я еще поборюсь! Поборюсь, покуда кости мои не сотрутся в муку!»

Закатилась Луна, и мир окунулся во тьму. Звезды метались в неспокойной воде, словно испуганные светлячки; сводили с ума, будто внизу открылась пропасть с сотней блестящих глаз.

Из ниоткуда появился валун — огромный, как драконья голова. Но Хархут изловчился, отвел гибель... Поток швырнул плот на берег, вставший каменным хребтом. Хархут налег на весло... Плот завертело так, что перед глазами поплыли круги. Но и здесь он прошел мимо смерти.

И так — целую ночь.

Да что там ночь? Солнце всходило и гасло в шипящих водах.

Глаза у Хархута покраснели от усталости и бьющего в лицо ветра. Мышцы стонали от боли. Кожа задубела. На ладонях вздулись пузыри.

Хархут терпел. Он искал боли, которая помешает ему заснуть. Адской боли, отгоняющей любой сон.

Что угодно, лишь бы не сон!

Что угодно...

Угольным цветом окрасились облака. Огненным ножом блеснула молния. Град захлопал по воде, застучал по скользким бревнам плота. Все скрылось в пелене летящих градин.

Льдинки рассекали кожу — она покрылась бусинами крови. Осколки небесного льда засыпали плот, они хлестали и хлестали по спине, по ногам, путались в волосах. Все тяжелее было стоять... Но еще бушевало в груди пламя, рвалось наружу, разрывая ребра! И только крепче сжимал зубы Хархут.

Тут град прекратился, обрушился ливень, каких давно не было в здешних местах. В одночасье размыло землю, и грязь водопадами хлынула с берегов. Вода реки и струи, бьющие с неба, смешались.

Но и это не сломало Хархута.
Он стоял прямой, словно жердь.
Одна мысль была в его голове:
«Что угодно, лишь бы не сон! Что угодно...»

Но тут случилось то, чего он боялся — река подвела.

Гранитно-серые скалы обратились пологими берегами. Течение стало спокойным. От воды потянуло запахом гниющих водорослей. Болотный смрад ударил в ноздри, а в ушах зашумели отвратительные жабьи «песни». В бледно-желтых камышах шевелились гады.

Опасность разбиться о камни, быть смытым потоком и проглоченным водоворотами пропала. А вместе с ней пропали и силы бороться со сном.

Ноги стали подламываться. Черная тьма гудела в голове. Мышцы обмякли на костях, точно студень.

Веки тяжелели. В груди... только слабое биенье измученного сердца.

Пять суток провел он без сна, борясь за свою жизнь. Пять дней и ночей на грани рассудка. Сжигаемый болью и страхом... сжигаемый гордостью. *Разве может смерть коснуться меня? Разве может она победить того, кто ни разу не проигрывал в битве? Разве не заслужил я... Разве не заслужил я жить веч... Так для кого же сотворен этот мир? Не для меня ли?*

Но он еще пытался стоять на ногах.

Нельзя бездействовать!

Слабыми руками Хархут поднял из воды весло, сел, положил его на колени. На ладони появился бронзовый нож.

Нестерпимых усилий стоило Хархуту вырезать в дереве глубокое «ложе». Он вырвал клок седых волос. Он помнил, как звенела тетива; как бурлила кровь в жилах, когда стрелял он из лука, добывая дичь. Перед глазами плыли круги, невольные слезы делали мир блеклым, погруженным в молочный туман. Хархут напрягал глаза. Он плел. Плел струны, когда день приближался к концу.

Облака зажигались оранжевым. Замерцала первая звезда — Звезда Пастухов.

Хархут приладил две струны к «ложу».

— Кобыз! — сорвалось с его обескровленных губ.

Он провел ладонью по струнам. Они задрожали в истоме рвущихся наружу звуков.

В надвигающихся сумерках замолкли жабы. Перестали шуметь камыши. Болотная вонь исчезла, растворившись меж звезд.

Хархут ударил по струнам. Закружились вихри. Где-то вдалеке затрещали деревья. Камыши стали трухой взлетать в воздух. Небосвод задрожал, и потускнела Луна.

«Что за чудо — кобыз! — рвалось из груди. — Но уже ночь. Сил все меньше. — Только бы ночь продержаться! Одну всего ночь!»

И он бил по струнам. Он драл пальцы в кровь, а звуки кобыза шевелили ночной холодный воздух. Песни слетали с Хархутовых губ и носились во тьме белыми птицами. Что было в них, в этих песнях? Знает только холодная река, рвущая свои оковы, да далекие звезды и молчаливые рыбы. Может, сказы о боли и вечной любви? Может, славные битвы старых дружин, и радость цветка, растущего к солнцу. Может, свежий ветер и жар ханских огней. Некому рассказать об этом. Только безъязыкая ночь слушала песни... Слышала, как слабо трепетало сердце в старческом теле. Да может, это и было той самой песнью?

Заалел рассвет. Хархут повалился на бревна. Сил не было даже дышать. Сквозь полузакрытые веки он видел, как высоко в небесах летали птицы, как они играли, кружа в воздушных потоках. Как плыли белые облака — нежные, словно детские щеки, высоко парящие, точно пух на ветру. Он видел: из золотисто-красного света вырастает пламенный город с бронзовыми вратами. Стены из слоновой кости сияют бриллиантами, изумрудами, золотом. Шум веселой толпы за теми вратами. Звенит сталь — то бьются древние воины на вселюдных пирах. Сияет радуга — это пролился мед из их резных кубков. И вдруг резкий птичий крик — неприятный, страшный. Крик птицы, что водится лишь в глубинах провидческих снов.

Бронзовые врата медленно открылись.

3

Скоро зима.

Ветер ревел, стонал. Клином летели птицы, уходя от холодов. Рычала лиса, прижавшись к земле.

В низких домах жили люди. Они стригли овец, шили одежды. Они учили детей стрелять из лука и ждали зимы; ждали, когда загорятся костры, и жар их сразится с иглами стужи. В их домах был покой и сладкая тишина, которую не ведают иные Герои.

Бездыханное тело старца вынесло на берег, когда вода стала покрываться тонким льдом.

— Хархут, — шептали люди. — Хархут...

Перед ними лежал тот, о ком слагали легенды. Тот, перед кем падали ниц великие ханы.

Лица людские потускнели бледностью скорби — пал повелитель. Пал в тяжкой битве, о которой им никогда не узнать.

— Смотрите! Смотрите, что *он* держит в руках!

И человек поднял кобыз. Странно легко разжались мертвые пальцы.

Человек провел ладонью по струнам. Они зазвенели, рождая улыбки в лицах. Но в улыбках была и грусть...

Да, пусть были нерешительными эти касанья струн. Но в первый раз в руках людей рождалась музыка. Не тайные звуки шаманских камланий, а музыка. В этот день она вошла в жизнь человеческую и осталась навечно — в горе и в радости, под солнцем и в темную непогоду. Оглядитесь вокруг: все начиналось тогда, из весла и седых волос вещего старца. И быть может, он еще жив, жив в каждой ноте... Он победил? Кто знает... Да только все еще поются песни.

А что же Хархут? Самые большие почести были отданы старцу. Все люди рыли ему могилу голыми руками. И был, говорят, курган над его прахом, огромный точно гора. И многое еще говорили чудесного про ту могилу. Будто, если положить на нее кобыз, то он сам начнет играть что-то стонущее и жалобное. А на его деревянной поверхности проступят слезы. Говорят, что и сейчас можно найти тот курган, где-то там, у гремучей реки. Но ты не верь этому. Уже многого нет. Курган сравнялся с землей. Исчезла степь, и люди, что жили в ней. Забылись имена. И только река течет, бурлит: днем и ночью, летом и зимой, под пологом льда. Она точит берег, наваливается на него всей своей силой, бьет, крушит, ломает. Но берег стоит неприступной стеной. И так день за днем, год за годом — целую вечность.